Ги де Мопассан

Страсть
Рассказы

Москва
2024

УДК 821.133.1-32
ББК 84(4Фра)-44
М78

Guy de Maupassant
UNE PASSION

Перевод с французского

Художественное оформление серии *Степана Костецкого*

Мопассан, Ги де.
М78 Страсть : рассказы : [перевод с французского] / Ги де Мопассан. — Москва : Эксмо, 2024. — 288 с. — (Яркие страницы).

ISBN 978-5-04-196399-6

Блестящее писательское дарование Ги де Мопассана ощутимо как в его романах, так и в самых коротких новеллах. Он не только описывал внешние события и движения человеческой души в минуты наивысшего счастья или испытания, но и исследовал мистическую природу Зла, нередкую нелогичность и необъяснимость человеческих поступков. А каждая новелла Мопассана — это точная зарисовка с натуры, сценка из жизни, колоритный образ мужчины или женщины, молодежи или стариков, бедняков или обитателей высшего света.

УДК 821.133.1-32
ББК 84(4Фра)-44

© Немчинова Н., перевод на русский язык. Наследники, 2024
© Дарузес Н., перевод на русский язык. Наследники, 2024
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

ISBN 978-5-04-196399-6

Жюли Ромэн

Два года назад, весной, я много бродил пешком по побережью Средиземного моря. Идти по дороге широким шагом и думать... Что может быть приятнее? Идешь вдоль гор, по берегу моря, под ярким солнцем, овеваемый ласковым ветром! И мечтаешь! Сколько обманчивых грез, любовных переживаний и всевозможных приключений промелькнет в душе, увлеченной мечтами, за два часа пути! Сколько смутных, но радостных надежд вливается в грудь вместе с теплым и чистым воздухом; впиваешь их в дуновении бриза, сердце томит жажда счастья, а от прогулки разыгрывается аппетит. Мысли же, быстрые, пленительные мысли, проносятся и поют, как птицы.

Итак, я шел длинной дорогой, которая ведет из Сен-Рафаэля в Италию, вернее, шел мимо сменяющихся великолепных декораций, как будто созданных для сценического обрамления всех любовных поэм на земле. И размышлял я о том, что от Канн, где царит тщеславие, и до Монако, где царит рулетка, в эти края приезжают лишь для того, чтобы пускать пыль в глаза или разоряться, и под этим прекрасным небом, в этом саду цветущих роз и апельсиновых деревьев, люди выставляют напоказ свое пошлое чван-

ство, глупые претензии, низкие вожделения, обнажая натуру человеческую во всем ее раболепии, невежестве, наглости и алчности.

И вдруг на берегу очаровательной бухты, какие тут встречаются за каждым изгибом горного кряжа, я увидел у самого моря несколько вилл — четыре или пять, не больше, а позади них по двум глубоким лощинам далеко-далеко тянулся дремучий сосновый лес, и, казалось, не было там ни дорог, ни тропинок, ни хода, ни выхода. Перед одной из этих вилл я остановился как вкопанный: уж очень хорош был белый домик с темными панелями, до самой кровли затянутый вьющимися розами.

А сад! Живой ковер из цветов всех размеров и всевозможной окраски, перемешанных в изысканном и кокетливом беспорядке. Газон пестрел цветами; на каждой ступеньке крыльца, слева и справа, возвышался целый сноп цветов; по ослепительно-белому фасаду свисали из окон ярко-синие и желтые грозди, а каменную балюстраду, украшавшую кровлю, обвивали гирлянды крупных красных колокольчиков, алевших, как пятна крови.

За домиком виднелась длинная аллея цветущих апельсиновых деревьев, доходившая до самой горы.

На двери я прочел надпись небольшими золотыми буквами: «Вилла «Минувшие дни».

Я спрашивал себя, какой поэт или какая фея живет здесь, какой вдохновенный отшельник открыл этот уголок и создал сказочный домик, словно сам собою выросший посреди букета цветов?

Немного поодаль рабочий дробил на дороге щебень. Я спросил у него, кому принадлежит это сокровище. Он ответил:

— Госпоже Жюли Ромэн.

Жюли Ромэн... Когда-то, еще в детстве, я очень много слышал о великой актрисе Жюли Ромэн, сопернице Рашель.

Ни одной женщине не рукоплескали так, как ей, ни одну столько не любили, как ее, — да, главное, любили. Как много было из-за нее дуэлей, самоубийств и нашумевших похождений!

Но сколько же теперь лет этой обольстительнице? Шестьдесят, семьдесят, семьдесят пять? Жюли Ромэн... Она здесь, в этом домике. Женщина, которую обожали самый великий музыкант и самый утонченный поэт нашей страны! Я помню, как взволновал всю Францию (мне было тогда двенадцать лет) ее бурный разрыв с музыкантом и бегство в Сицилию с поэтом.

Она уехала вечером, после премьеры какого-то спектакля, когда весь зал аплодировал ей целых полчаса и вызывал ее одиннадцать раз подряд; она уехала с поэтом в дормезе, как тогда ездили; они переплыли на пакетботе море, чтобы уединиться на древнем острове, детище Греции, и любить друг друга под сенью огромной апельсиновой рощи, которая окружает Палермо и носит название «Золотая раковина».

Рассказывают, что они поднялись на Этну и, прильнув друг к другу, щека к щеке, наклонились над исполинским кратером, словно хотели броситься в огненную бездну.

Он умер, этот создатель волнующих стихов, таких глубоких, что от них кружилась голова у всего его поколения, и таких утонченных, таких таинственных, что они открыли новым поэтам новый мир.

Умер и другой — покинутый ею, — тот, кто находил для нее музыкальные фразы, сохранившиеся

в памяти у всех, мелодии, исполненные торжества и отчаяния, окрыляющие и мучительные.

А она еще жива, она тут, в этом домике, укрытом цветами.

Я не колебался ни минуты, я позвонил у двери.

Мне отпер слуга, глуповатый на вид юнец лет восемнадцати, с нескладными руками. Я написал на визитной карточке несколько строк: галантный комплимент старой актрисе с горячей просьбой принять меня. Может быть, ей известно мое имя и она согласится открыть для меня двери своего дома.

Молодой лакей ушел, затем вернулся и, попросив пожаловать, провел меня в опрятную гостиную чопорного стиля Луи-Филиппа, обставленную тяжеловесной и неудобной мебелью, с которой в мою честь снимала чехлы молоденькая горничная, стройная, тоненькая дурнушка лет шестнадцати.

Затем меня оставили одного.

На стенах висело три портрета: хозяйки дома в одной из ее ролей, поэта, одетого в длинный редингот, перехваченный в талии, и в сорочку с пышным жабо, по старинной моде, и музыканта за клавикордами; манера живописи была четкая, тонкая, изящная и сухая.

Актриса улыбалась прелестными губами и голубыми глазами — белокурая, очаровательная, но жеманная, как все красавицы на портретах того времени. Поэт и музыкант как будто уже видели перед собой будущие поколения.

В этой гостиной все говорило о прошлом, об ушедшей жизни, о людях, которых не стало.

Открылась дверь, и вошла старушка, совсем старенькая, вся седая, с белыми, как снег, волосами,

с белыми бровями, — настоящая белая мышка, проворная и бесшумная.

Она протянула мне руку и все еще молодым, звучно вибрирующим голосом сказала:

— Благодарствую за внимание, сударь. Как это мило с вашей стороны. Стало быть, нынешние мужчины еще вспоминают о женщинах прошлого! Садитесь, пожалуйста.

Я сказал, что меня пленил ее домик и мне захотелось узнать имя владельца, а услышав ее имя, я не мог побороть желания постучаться к ней в дверь.

Она ответила:

— Очень приятно, сударь, тем более что подобное посещение для меня теперь великая редкость. Когда мне подали визитную карточку и я прочла ваши любезные слова, у меня забилось сердце, словно я получила весть о возвращении друга, исчезнувшего на целых двадцать лет. Ведь я покойница, сударь, право, покойница, обо мне никто не вспомнит, никто не подумает до того дня, как я умру по-настоящему. А тогда все газеты дня три будут говорить о Жюли Ромэн, печатать анекдоты, воспоминания, напыщенные похвалы. А затем со мной будет покончено навсегда...

Помедлив немного, она добавила:

— И уж этого недолго ждать. Пройдет несколько месяцев, может быть, несколько дней, и от маленькой старушки, которая пока еще жива, останется только маленькая горстка костей.

Она подняла глаза к своему портрету — он улыбался ей, этой старой женщине, этой карикатуре на него, затем взглянула на портреты обоих своих возлюбленных — высокомерного поэта и вдохновенно-

го музыканта, а они, казалось, говорили друг другу: «Что нужно от нас этой развалине?»

Сердце у меня сжалось от печали, от неизъяснимой, смутной и горькой печали о прожитых жизнях, которые еще борются со смертью в воспоминаниях, словно утопающий в глубокой реке.

В окно видно было, как по дороге из Ниццы в Монако проносятся блестящие экипажи, а в них мелькают молодые, красивые, богатые, счастливые женщины и улыбающиеся, довольные мужчины. Жюли Ромэн заметила мой взгляд, угадала мои мысли и еле слышно промолвила с покорной улыбкой:

— Жизни не удержать...

— А как, наверно, прекрасна была ваша жизнь! — ответил я.

Она глубоко вздохнула:

— Да, прекрасна и радостна. Вот почему я так жалею о ней.

Я видел, что она не прочь поговорить о себе, и потихоньку, очень осторожно, словно прикасаясь к больному месту, принялся ее расспрашивать.

Она говорила о своих успехах, о своем упоении славой, о своих друзьях, о своей блистательной жизни.

Я спросил:

— Самую глубокую радость, истинное счастье дал вам, конечно, театр?

Она быстро ответила:

— О нет!

Я улыбнулся; она печальным взглядом окинула портреты двух своих возлюбленных и сказала:

— Нет, счастье мне дали только они.

Я не удержался от вопроса:

— Кто же из них?

— Оба. Я порою немного путаю их в памяти — по-старушечьи, а к тому же перед одним из них чувствую себя теперь виноватой.

— В таком случае, сударыня, ваша признательность относится не к ним, а к самой любви. Они были только ее истолкователями.

— Возможно. Но какими!..

— А не думаете ли вы, что гораздо сильнее вас любил или мог бы любить кто-нибудь другой, какой-нибудь простой человек, — пусть он не был бы гением, но отдал бы вам всего себя, все свое сердце, все мысли, все мгновения своей жизни, тогда как в любви двух этих великих людей у вас были опасные соперницы: музыка и поэзия.

Она воскликнула удивительно молодым своим голосом, задевающим какие-то струны в душе:

— Нет, сударь, нет. Другой человек, возможно, любил бы меня сильнее, но любил бы не так, как они. Ах, они пели мне песню любви, какой не спеть никому в мире! Она опьяняла меня. Да разве кто-нибудь другой, обыкновенный человек, мог бы создать то, что они создавали в мелодиях и словах? И много ли радости в любви, если в нее не могут вложить всю поэзию, всю музыку неба и земли! А они умели свести женщину с ума чарами песен и слов. Да, быть может, в нашей страсти было больше мечты, чем действительности, но такая мечта уносит за облака, а действительность всегда тянет вниз, к земле. Если другие и любили меня сильнее, чем они, то лишь через них двоих я познала, постигла любовь и преклонилась перед нею!

И вдруг она заплакала.

Она плакала беззвучно, слезами отчаяния.

Я делал вид, будто ничего не замечаю, и смотрел вдаль. Через несколько минут она заговорила:

— Видите ли, сударь, почти у всех людей вместе с телом стареет и сердце. А у меня не так. Моему жалкому телу шестьдесят девять лет, а сердцу — все еще двадцать. Вот почему я живу в одиночестве, среди цветов и воспоминаний.

Настало долгое молчание. Она успокоилась и сказала, уже улыбаясь:

— Право, вы посмеялись бы надо мною, если б знали... если б знали, как я провожу вечера... в хорошую погоду!.. Мне самой и стыдно и жалко себя.

Сколько я ни упрашивал, она больше ничего не захотела сказать. Наконец я встал, собираясь откланяться.

Она воскликнула:

— Уже?

Я сослался на то, что должен обедать в Монте-Карло, и тогда она робко спросила:

— А не хотите ли пообедать со мной? Мне это доставит большое удовольствие.

Я тотчас согласился. Она пришла в восторг, позвонила горничной, отдала распоряжения, а после этого повела меня осматривать дом.

Из столовой дверь выходила на застекленную веранду, уставленную растениями в кадках; оттуда была видна вся длинная аллея апельсиновых деревьев, убегавшая вдаль до самого подножия горы. Скрытое зеленью удобное низкое кресло указывало, что старая актриса частенько приходит посидеть здесь.

Затем мы отправились в сад полюбоваться цветами. Спускался тихий вечер, мягкий, теплый вечер, в воздухе струились все благоухания земли. Совсем

уже смеркалось, когда мы сели за стол. Обед был вкусный, за столом мы сидели долго и стали друзьями, ибо она почувствовала, какая глубокая симпатия к ней пробудилась в моем сердце. Она выпила немного вина — «с наперсток», как говорили когда-то, и стала доверчивее, откровеннее...

— Пойдемте посмотрим на луну, — сказала она. — Милая луна!.. Обожаю ее. Она была свидетельницей самых живых моих радостей. И мне кажется, что теперь в ней таятся все мои воспоминания; стоит мне посмотреть на нее, и они тотчас воскресают. И даже... иногда... вечерами я балую себя красивым... зрелищем... очень, очень красивым. Если бы вам сказать... Да нет, вы бы посмеялись надо мной... Нет, не скажу... не могу... нет, нет...

Я принялся упрашивать:

— Полноте! Что вы! Расскажите. Обещаю вам, что не буду смеяться! Даю слово! Ну, пожалуйста.

Она колебалась. Я взял ее руки, жалкие, сухонькие, холодные ручки, и поцеловал одну и другую несколько раз подряд, как это делали когда-то «они». Она была тронута. Она колебалась.

— Так обещаете не смеяться?

— Честное слово!

— Ну, хорошо, идемте.

Она встала, и когда слуга, неуклюжий юнец в зеленой ливрее, отодвигал ее кресло, она что-то сказала ему на ухо быстрым шепотом.

Он ответил:

— Слушаю, сударыня. Сию минуту.

Она взяла меня под руку и повела на веранду.

Аллея апельсиновых деревьев в самом деле была чудесна. Луна уже взошла, большая, круглая луна,

и протянула по середине аллеи длинную полосу света, падавшего на желтый песок меж круглых и плотных крон темных деревьев. Деревья стояли все в цвету, и ночь была напоена их сильным и сладким ароматом. А в черной листве порхали тысячи крылатых светляков, огненных мух, похожих на звездные зернышки.

Я восхитился.

— О, какая декорация для любовной сцены!

Она улыбнулась.

— Ведь правда, правда? Сейчас вы увидите.

Она усадила меня рядом с собой. И, помолчав, сказала тихонько:

— Вот почему жалко, что жизнь ушла. Но ведь вы, нынешние мужчины, о любви не думаете. Вы теперь биржевики, коммерсанты, дельцы. Вы даже разучились разговаривать с нами. Я говорю «с нами», но имею в виду, конечно, молодых женщин. Любовь превратилась теперь просто в связь и нередко начинается со счета портнихи, который женщине надо скрыть. Если вы найдете, что женщина не стоит таких денег, вы отступаете; если найдете, что женщина стоит больше, вы оплатите счет. Хороши нравы! Хороша любовь!

Она взяла меня за руку.

— Смотрите...

Я взглянул и замер от удивления и восторга... Вдали, в глубине аллеи, по лунной дорожке, обнявшись, шла влюбленная пара. Они шли медленно, прижавшись друг к другу, очаровательные, юные, и то пересекали лужицы света, который тогда ярко озарял их, то внезапно исчезали в тени. Он был в белом атласном кафтане, какой носили в минувшем ве-

ке, и в шляпе со страусовым пером; она — в платье с фижмами и в высокой пудреной прическе красавиц времен Регентства.

В ста шагах от нас они остановились посреди аллеи и с жеманной грацией поцеловались.

Тут я узнал в них обоих молодых слуг актрисы и весь скорчился на стуле, едва сдерживая безумное, нестерпимое желание расхохотаться. Все же я пересилил себя и не рассмеялся. Я изнемогал, мучился, дергался, но подавил в себе смех, как человек, которому ампутируют ногу, подавляет крик, рвущийся из горла и с губ.

Но вот юная чета повернулась, направилась в глубину аллеи и снова стала прелестной. Она уходила, удалялась, исчезала и наконец совсем исчезла, как греза. Ее уже не было видно. Опустевшая аллея стала печальной.

Я тоже ушел, ушел, чтобы больше не видеть их: я понял, что этот спектакль длится долго, ибо он возрождает прошлое, далекое прошлое любви и рампы, искусственное, обманчивое и пленительное прошлое, полное ложного и настоящего очарования, от которого все еще билось сердце бывшей актрисы и былой любовницы.